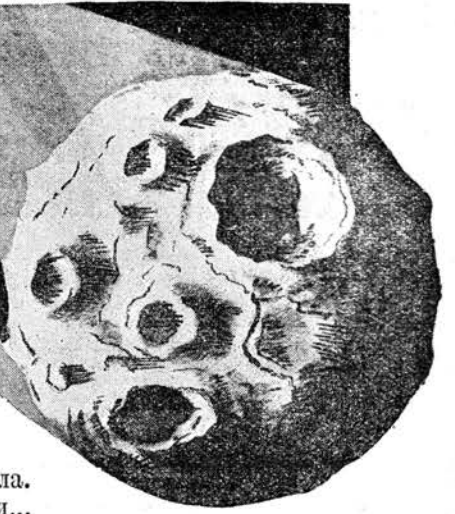


КРАТЕР КОПЕРНИКА



Рассказ В. Позднякова.

Рисунки Н. Дормидонтова.

I. Девочки в розовых платицах.

— Папочка, в этом чемодане теплое белье, в том, красном — аптечка...

— Папочка, обязательно не забудь дать телеграмму из Марселя, как доехал.

— Папочка, а где твои перчатки? Опять ты с голыми руками!

Папочка не может сразу отвечать на все вопросы и указания. Он стоит, немного смущенный, и растерянно улыбается. Публика с любопытством смотрит на высокого, полного мужчину, лет пятидесяти, окруженного тремя девочками в розовых платицах. Девочки очень взволнованы и собираются плакать. Старшей лет пятнадцать, младшей десять. Средняя, двенадцатилетняя, расстроена больше всех — она уже плачет, уткнувшись лицом в грудь отца, плечи ее вздрагивают.

— Девочки, девочки, не надо, — говорит отец, — я вернусь к октябрю... Это уж не такой срок... А там совсем не страшно... М-сье Грохотов пишет, что там совсем наоборот — тепло, уютно, светло. М-сье Грохотов не станет лгать, девочки...

Раздается второй звонок — и публика бросается к вагонам. Мужчина целует — бесчисленно, короткими, ключющими поцелуями, — младшую, среднюю, старшую, затем отрывает от себя вцепившиеся детские руки, всхлипывает, улыбается, опять всхлипывает, машет рукой и лезет в вагон.

Девочки идут, затем бегут рядом с поездом, кричат что-то. По выражению лица старшей мужчина догадывается, что она хочет сказать что-то чрезвычайно важное. Он берет ее за оконные ремни и тянет к визу — рама не поддается. На лице старшей отчаяние... Мужчина колеблется секунду, потом кулак ударяет по стеклу — и оно звенящими осколками летит на платформу.

— Папочка! — кричит старшая. — Мы забыли положить ящик с сигарами — купи в Марселе!

Поезд набирает скорость — розовые платицы отходят назад, и он выносится из-под грохочущего навеса, стрекоча на сплетениях рельс.

— Вопрос решен по-военному, — слышит мужчина около себя низкий бас, — дзюнь и готово!

Он оборачивается от окна и видит широкоплечего сача, сидящего напротив на диване.

— Вы порезали себе руку, мсье, — продолжает сач, с восхищением смотря на соседа.

«Папочка» глядит на руки и видит на тыльной ее части красные струйки.

— Позвольте представиться, — говорит усач, привставая с полупоклоном, — полковник 15-й танковой бригады, Жан-Жак Шеба. Еду, как и вы, в Марсель.

— Журбо, Леон Журбо, — отвечает папочка, — астроном парижской обсерватории... Рука, действительно,

немного пострадала.

Ну, да это пустяки...

Он вынимает платок и перевязывает руку. Смотрит в окно и пугается.

— Ради всего святого, простите, мсье... мсье...

— Шеба, — подсказывает военный.

— Простите, м-сье Шеба — ведь я могу вас простудить! Мы будем вынуждены ехать без стекла!

Полковник смеется.

— Я военный, м-сье Журбо, — говорит он, — и мне вскоре предстоят такие солидные развлечения, что смешно и думать о простуде. Что же касается стекла, то это тоже пустяк по сравнению с теми осколками, которые скоро засвистят по всему миру.

— Да, да, — печально отвечает Журбо. — Я хотя и далек от политики, но слышал, что международное положение очень серьезно.

— Оно безнадежно, мсье, — отвечает полковник. — Я сейчас вызван из отпуска к своей части... Отпуска военным прекращены во всей Франции. Война — дело ближайшего будущего, мсье...

— К счастью, — вздохнул Журбо, — у меня нет сыновей. У меня только три дочери... Вы их видели, они провожали меня.

— Прелестные девочки... Осмелюсь спросить, а вы едете только до Марселя, или дальше?

— О, значительно дальше... На Эверест¹⁾.

Полковник оживает.

— На Эверест? На недавно выстроенную обсерваторию? О, как я завидую вам! Пожалуй, это единственное место на земном шаре, за исключением, разве, полюсов, куда не долетит грохот войны. Расскажите мне, мсье, об обсерватории, я знаю о ней не больше, чем полагается каждому обывателю, т.е. очень немного.

Журбо начинает рассказывать.

На высоте 8.840 метров на уровне моря, там, где разреженный воздух хрустально чист и прозрачен, Международная Астрономическая Ассоциация выстроила обсерваторию. Сотни аэропланов и дирижаблей, специально приспособленных для этой цели, заносили на вершину горы, на небольшую площадку, окруженную со всех сторон головокругительным обрывом, части будущей обсерватории. Рабочие, сменяемые каждые два часа, в костюмах и шлемах, защищающих их от разреженного воздуха, собирали эти части. И выстроили обсерваторию, которая, как муха на стог сена, видна в сильные трубы с подножия Эвереста — черная точка на снежной вершине.

Руководил постройкой инженер-механик Грохотов, человек больших знаний и выдающейся энергии. Обсерватория оборудована великолепными инструментами,

¹⁾ Эверест, гора Гималайского хребта, высочайшая вершина земного шара.

ставящими наблюдения в совершенно исключительные условия.

— Ну, а как же, — спросил полковник, — поддерживается сообщение с обсерваторией? Ведь нужны припасы, вода... Чем обеспечено поддержание необходимого воздушного давления в помещениях, нормальной температуры?

— Международная Ассоциация валадила регулярное аэропланное сообщение между Лукновым, индийским городом, и обсерваторией. Кроме того, на ней установлен радио-телеграф. В Гайбуке, специально выстроенном поселке у южной подошвы Гималаев, оборудована электростанция, подающая ток на вершину. Насосы для сгущения воздуха, термоэлементы, нагревающие его, механизмы астрономических инструментов приводятся в действие этим током. Бронированная кабель бежит из Гайбука по горе вверх, в обсерваторию.

— Да, это замечательное сооружение, — сказал Шеба, — Вы не боитесь, что в связи с надвигающейся войной, возможно прекращение деятельности обсерватории? Ведь Международная Астрономическая Ассоциация включает, я думаю, в число своих членов, представителей и тех государств, которые будут, несомненно, в состоянии войны между собой.

Журбо выпрямляется.

— Мсье, — гордо говорит он, — люди науки не воюют друг с другом.

II. 8.840 метров.

Грохотов взглянул на часы. Без четверти пять. Через десять минут на юго-западе должна показаться хорошо знакомая точка аэроплана.

— Мсье Либетраут! — сказал он, приотворя дверь в соседнее помещение, — через десять минут мсье Журбо будет здесь!

Грохотов заметно волнуется, хотя и старается скрыть это. Маленький, энергичный, крепко владеющий собою старик, он сейчас не находит себе места — три месяца ждал он этого мгновения, как же тут не волноваться!

Либетраут не отвечает. Грохотов смотрит в соседнюю комнату и видит, что она пуста. Поделиться не с кем... Десять минут — вечность! Наконец, появляется и долгожданная точка. Грохотов бежит к камере воздушного шлюза и открывает штору.

Точка вырастает в аэроплан. Две-три минуты,

и пятидесятилетний красавец, с могучими, рассчитанными на десятикилометровый потолок¹ крыльями, садится напротив шторы шлюза.

Из кабины выходит высокое, закутанное в меховое существо, в маске, глазастой и большеносой. Когда оно входит в шлюз, Грохотов изнури, передаточным механизмом, опускает штору и, повернув крив воздушного насоса, пускает в камеру воздух. Когда стрелка манометра, вздрагивая, останавливается на 760, он открывает штору

и пропускает в комнату гостя.

— Раздевайтесь, раздевайтесь, коллега, — торопит Грохотов прибывшего, помогая ему освобождаться от мехов.

— Дорогой мой, — продолжает Грохотов. Если бы вы знали, как я рад вашему приезду! Не меньше, чем Робинзон, дождавшийся Пятницы, — честное слово!

Они целуются, для чего Журбо необходимо сильно нагнуть.

— Идемте, идемте, — тянет Грохотов прибывшего за рукав. — Во-первых — есть, есть и есть! Не забудьте за наше меню, это консервы во всех видах.

¹ Потолок аэроплана — высшая точка, могущая быть им достигнутой.



И выстроили обсерваторию.

— А где же мсье Либетраут?—спрашивает Журбо,— вы писали, что он тоже на Эвересте.

На лицо Грохотова ложится печать досады. Он пожимает плечами.

— Мсье Либетраут с утра заперся в фото-лаборатории. Он, как заведенный механизм, делает каждый день одно и то же, распределяя время по минутам. Это, конечно, очень почтительно, но... невыразимо скучно. Как видите, он и для вас не пожелал изменить своего режима.

— О, я не в претензии, — живо возражает Журбо. Грохотов внимательно смотрит ему в глаза. Тот не выдерживает взгляда и отводит глаза в сторону.

— Предположим, — усмешается Грохотов. — Ну-с, а все же идемте кушать.

За ужином Грохотов расспрашивает Журбо обо всех европейских новостях. Собственно говоря, новость одна — это прирак надвигающейся войны. Но и она для Грохотова не является новостью — в обсерватории установлен радио-телеграф.

— У Либетраута два сына в армии, — говорит Грохотов. — Они аккуратно пишут ему раз в неделю.

— Ну, а как сам он относится к войне? — спрашивает Журбо.

— Его не понять. Он так мало говорит, что вообще не знаешь, какие мысли у него в голове. Даже писем сыновей он не читает сразу по получении — для того отведено полчаса перед сном.

Затем Грохотов рассказывает о жизни в обсерватории. За месяц до приезда Журбо на Эверест прибыл астроном Мадридской обсерватории Хаэн. Но не прожил и недели — впечатлительный и нервный, он не выдержал окружающего безмолвия, мороза ¹⁾ и всей необычайности обстановки, захандрил и ночью, когда его товарищи по работе спали, вызвал по радио аэроплан. Несмотря на уговоры Грохотова и презрительное молчание Либетраута, он сел в машину и улетел, страшно сконфуженный, но непреклонный.

— Как видите, дорогой мсье Журбо, — заключил Грохотов, — у нас далеко не весело. Однообразие пищи, мороз, безмолвие, закупоренность и невозможность выйти на воздух страшно действуют на нервы. Становишься раздражительным и нетерпимым к каждой мелочи. Только в работе забываешься, а ее тут сколько угодно.

После ужина Грохотов повел Журбо осматривать обсерваторию. В плане она представляла треугольник, в каждой вершине которого было по куполу, для экваториала, меридианного круга и астрографа с двумя фотокамерами ²⁾. Купола сообщались коридорами с жилой и служебной частью, последняя же состояла из фотолаборатории, машинной, вмещавшей в себе машины для сгущения воздуха, аппараты для распределения нагревательной сети и прочие приборы. Жилая часть делилась на три комнаты для высшего персонала обсерватории, общую и помещение для нижних служащих, в числе которых был один телеграфист и два сторожа. В подвале находились астрономические часы — сердце обсерватории.

При проектировании сооружения Грохотовым, главным автором проекта, были приняты все меры, обеспе-

чивающие здание от утечки воздуха помещений в разреженную наружную атмосферу. У выходов коридоров в помещения инструментов были примонтированы небольшие кабинки, едва вмещавшие двух человек. Кабинки эти с другой стороны были присоединены к окулярам ³⁾ инструментов. Когда наблюдатель входил в кабинку, то опускал за собою штору, разъединял кабинку от коридора, изолируя последний от разреженного воздуха купольного помещения путем опускания второй шторы — и кабинка совершала путешествие вместе с инструментом.

— Вот здесь, — сказал Грохотов, входя с Журбо в кабинку гигантского, около 30 метров в длину, экваториала, и нажатием кнопки разъединяя ее от коридора, — помещается все управление инструментом. Единственное движение, необходимое тут, это нажатие пальцем. Вот ряд кнопок, приводящих в движение, посредством электромоторов, различные части телескопа. Часовой круг, круг склонения, позиционный круг, кольцо для движения окуляра, лампы, шторы купола, кабинки — одним словом все управляется отсюда посредством кнопочной клавиатуры. Ваша другая рука совершенно свободна. Вот смотрите.

Грохотов нажал кнопку. Экваториал, увлекая за собою кабинку, стал поворачиваться вокруг круга склонения, с тяжелой грацией гиганта.

— Вы совершаете путешествие вместе с инструментом, спокойно, как в люлке, — с гордостью удачливого родителя сказал Грохотов.

Показав затем Журбо в других, таких же обширных помещениях меридианный круг, грузно покопывшийся на своих цапфах, астрограф и остальные, более мелкие инструменты, Грохотов вместе с ним вернулся в жилую часть обсерватории.

— Я совершенно не вижу радиаторов, обогревающих помещение, — сказал Журбо.

Грохотов хитро улыбнулся.

— Ваш покорный слуга ввел теоретически разработанную раньше, но практически совершенно новую систему отопления. На стены здания, склепанного из стальных листов, могущих, конечно, свободно выдержать давление воздуха изнутри, натянут изолирующий материал, вроде войлока, но значительно менее теплопроводный, а по нему ткань, основа которой состоит из металлической сетки, нагреваемой током до 40°. Нет неприятного движения нагретого воздуха, сопровождающего обычное центральное отопление, нет неравномерности температуры. Эта ткань обтягивает все стены, полы и потолки — одним словом все, за исключением окон, что соприкасается с наружным воздухом. Приложите руки к стене.

Журбо повиновался — и ладонь его восприняла то ощущение, которое появляется при прикосновении ко лбу большого, — ощущение слабо нагретой поверхности.

— Да, много, много усилий было потрачено на осуществление всего этого, — задумчиво сказал Грохотов, сидя вместе с Журбо после обхода в общей комнате. — Я вижу на вашем лице выражение восхищения всем виденным — и это вполне вознаграждает меня за долгие годы труда. На лице этого сухаря Либетраута я такого выражения не видел. Только им, правоверным немцам, полагается обезьян выдумывать...

— Разрешите войти, — услышали собеседники голос из-за двери.

— Легко на помине, — шепнул Грохотов, — пожалуйста, пожалуйста.

³⁾ Окуляр — конец телескопа, у которого помещается наблюдатель.

¹⁾ На высоте 8.840 метров, при температуре у поверхности земли в +15° Ц — температура около —20°.

²⁾ Экваториал — телескоп, вращающийся с помощью особого механизма в плоскости параллельной экватору; направленный на какую-нибудь планету или звезду следует за ее движением. Меридианный круг — телескоп, неподвижно закрепленный в плоскости меридиана — служит для наблюдения прохождения небесных светил через меридиан. Астрограф — инструмент, служащий для фотографирования небесных светил.

Либетраут, высокий, худой, горбоносый, с зачесанными вверх усами вошел в комнату.

— Я должен извиниться перед мсье Журбо, — сказал он, — что не был в состоянии его встретить. Накопилось много астрограмм¹⁾, которые необходимо было проявить.

Журбо почему-то сконфузился. Уверенный тон Либетраута, скрытая подчеркнутость того, что никакое, самое исключительное событие не может повлиять на его интересы, создавали ощущение какой-то виновности.

— Конечно, конечно, — заторопился Журбо, — я нисколько не в претензии...

— И кажется, даже готов извиниться перед вами, — досадливо усмехнулся Грохотов, — что прибыл в часы ваших занятий.

— Извиниться должен я, — не понимая, или делая вид, что не понимает едкой шутки Грохотова, упрямо повторил Либетраут.

Журбо поспешил переменить тему разговора.

— Великолепное звание, не правда ли? — обратился он к Либетрауту. — Сколько ума, творческой энергии и труда вложено в него. Как тут не гордиться человеком и его достижениями!

— Ну, на счет гордости вы оставьте, дорогой мой, — попыхивая трубкой, возразил Грохотов. — Не пройдет, думаю, и недели, как вся ваша хваленая творческая энергия начнет стрелять из пушек, отравит воздух и людей всякими люизитами, горчичными газами и прочей мерзостью...

— Да, это ужасно, — сказал Журбо. — И мы, как люди науки, не можем не чувствовать особенно остро всей глубины падения человечества. Я во время пути видел всюду лихорадочные приготовления к войне.

В Марселе спешно грузится углем французская эскадра, город наводнен войсками, в Суэце, Адене и Бомбее стоят на парах английские суда, около острова Сокитра мы встретили направляющуюся на запад немецкую эскадру.

— Немецкую? — переспросил Либетраут.

— Да... Опять десятки государств будут втянуты в войну только потому, что Франция и Германия что-то не поделили между собой.

— Когда вас хватают за горло, как схватила Франция Германию, — жестко ответил Либетраут, — то это называется не дележом, а грабежом.

Грохотов свистнул.

— Ого! — протянул он, — да никак уважаемый мсье Либетраут не только человек науки, но немного и патриот!

III. Кратер Коперника.

— Вот это астрограммы туманности Андромеды, это луны. Меня заинтересовал проход терминатора¹⁾ у Mare Umbrium. На этом снимке вы можете удивиться в замечательной ясности и резкости изображений, даваемых астрографом.

И Либетраут передал Журбо негатив.

— Последняя четверть, — сказал тот, рассматривая изображение. — Действительно, замечательная резкость... Терминатор проходит через Таруний, Море Спокой-

ствия, Гигинус, между Рейнгольдом и Коперником²⁾... Пойдите, пойдите!! — вдруг вскрикнул Журбо, поднося негатив почти к самым глазам и внезапно замолкая.

— Что такое? — заинтересовался Либетраут, придвигаясь к Журбо и нагибаясь над пластинкой.

Журбо молчал, как-будто в нерешительности.

Потом неуверенным тоном проговорил:

— Не то повторяется ошибка Пульфриха который принял за обвал просто дефект фотографической пластинки, не то действительно астрограмма зафиксировала нечто для меня сейчас не совсем понятное.

— В чем же дело? — с легким оттенком нетерпения спросил Либетраут.

— В кратере Коперника заметно какое-то помутнение — одну секундожку.

Журбо вынул из жилетного кармана лупу и навел ее на указанную точку. Навел — и опустился на стул, грузно, внезапно размякший, с бешено бьющимся сердцем. Потом опять поднес пластинку к глазам.

— Нет, это не дефект, мсье Либетраут. Это, это...

даже язык не поворачивается высказать догадку... Неужели это следы атмоферы — на мертвой, безжизненной луне? Раньше никогда ничего подобного не замечалось, если не считать сомнительных наблюдений Пикеринга... Одним словом, коллега, я ничего не понимаю...

Либетраут вынул пластинку из рук Журбо и стал ее внимательно рассматривать.

— Да, действительно, — констатировал он, — помутнение на лицо. И это не дефект. Пластинки, отправляемые на Эверест, вне всяких подозрений.

— Когда вы делали снимок, мсье Либетраут? — спросил Журбо.

— Восемнадцатого числа...



И Либетраут передал Журбо негатив.

¹⁾ Астрограмма — астрономический негатив.

¹⁾ Терминатор — линия, определяющая границу света и тени на луне.

²⁾ Название лунных кратеров.

— Восемнадцатого... м... — задумчиво повторил Журбо.

— Сегодня седьмое... Девятнадцать дней... Кратер Коперника уже вышел из тени и теперь виден... Сегодня вечером мы у экваториала, коллега.

Когда стемнело,— почти внезапной, бессумеречной тропической темнотой, и луна озарила снежные вершины гималайского хребта своим безжизненным сиянием,— Журбо и Либетраут заперлись в кабинке экваториала.

Нажатие двух, трех кнопок — и величественно поплыл объектив телескопа по почти черному небу. Огненным дождем пересекая звезды, планеты, туманности. Наконец в его центре появилась огромная, блистающая луна, на три четверти залитая солнечным светом.

Жадно принял Журбо к окуляру... Сомнений не было! Пятно, запечатленное пластинкой, увеличилось почти вдвое, вытянулось к середине кратера, к горам в его центре.

Журбо убедился, что оно замечательно похоже на остатки тумана в горах, на легкие облака влаги, но чующие в складках гор, тающие от первого луча утреннего солнца.

— Разрешите мне, — услышал Журбо над своим ухом голос Либетраута и почувствовал, как на его плечо легла тяжелая рука.

„Ого, не стесняется“... подумал он, но тут в своей душе и извинил и понял его нетерпение — явление было действительно исключительное.

А когда Либетраут сел у окуляра, он стоял около и думал о том, что за всю историю астрономии небо ни разу не послало такой загадочной картины... а разгадки все еще не было.

Через пять часов наблюдения, уже на рассвете, взглянув в последний раз в телескоп, Журбо мог с определенностью сказать, что и за это, сравнительно короткое, время пятно увеличилось, вытянувшись к центру кратера километров на тридцать.

„Если так будет продолжаться“, думал он, — то при диаметре кратера в девяносто километров он завтра весь займется облаком...

Усталые, разбитые, с воспаленными от долгого наблюдения глазами, вернулись они в общую жилую комнату.

— Ну-с, дорогой коллега, — спросил Журбо Либетраута, — что вы обо всем этом думаете?

Тот молчал. Заложив руки за спину, ходил по комнате. Наконец, сделав несколько концов, остановился перед Журбо.

— Я очень осторожен в выводах, мсье Журбо, — сказал он. — Явление настолько необычно, что может дать пищу тому совершенно неприемлемому для меня, как ученого, занятию, имя которому — научная фантазия. Подождем...

„Да, он скорее удавится, чем разрешит себе это удовольствие“, с досадой подумал Журбо. — Я несколько не согласен с вами, коллега, — продолжал он, — научная фантазия — великий двигатель, потому что порождает любовь к той же науке у тысяч людей.

— Наука вовсе и не нуждается в любви к ней, — сухо ответил Либетраут, — да, вряд ли, она и нужна этим тысячам.

— А для чего мы работаем?! — вскопчил Журбо, чувствуя, что к его горлу подступает тот нервный клубок, который, независимо от его воли, все чаще и чаще давал себя знать при его разговоре с Либетраутом. — Для чего сидим тут отшельниками, лишены свободы, людей, нормальных условий существования?

Грохотов, вошедший в этот момент в комнату, остановился в дверях и прислушался.

— Для чего сидит тут мсье Грохотов, еще более пожилой человек, чем мы с вами? Ведь у него семья, ведь для него еще более, чем для меня и вас, вовсе было бы не лишнее отдохнуть, пожить среди любящих людей, да просто полежать на траве и послушать пение птиц!..

— Мы немного уклоняемся в сторону, — ответил Либетраут, — это все имеет мало отношения к первоначально заданному вами вопросу об явлениях в кратере. Мы можем только констатировать какой-то процесс, причины и сущности которого не знаем и, может быть, не узнаем никогда. Повторяю, я враг догадок, а кроме того ужасно устал. Повойной ночи.

И он ушел в свою комнату.

Грохотов подсел к Журбо.

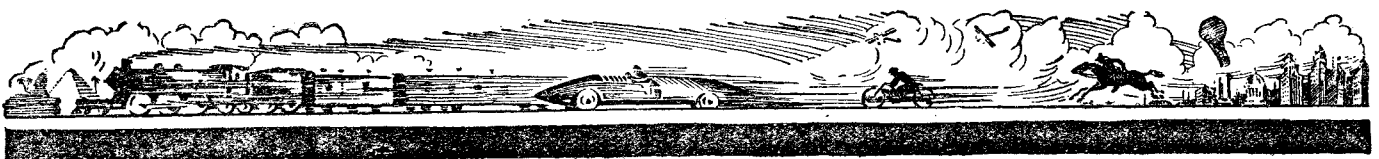
— Это какая-то схема, а не человек. — пожаловался Журбо. — Знаете, в медицине есть выразительный термин — идиосинкразия.. Это когда человеческий организм не воспринимает чего-нибудь такого, что по своей сущности совершенно безвредно... Земляники, например. Моя младшая дочь, здоровый во всех отношениях ребенок, ее совершенно не выносит. Съест одну ягоду, — и все тело покрывается какой-то сыпью... Так и я с Либетраутом. Чувствую, что во мне поднимается чисто физическое отвращение к нему, хотя он, может быть, вовсе не плохой человек и мне ничего худого не сделал.

И, махнув рукой, Журбо начал рассказывать Грохотову о всем виденном в экваториале.

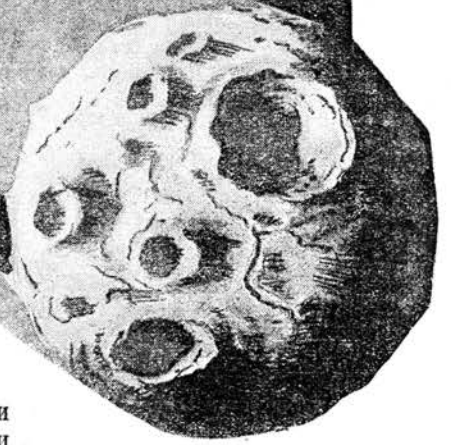
— Это замечательно, дорогой мсье Журбо, — выслушав его и тяжело вздыхая, ответил старик, — и я от всей души поздравляю вас, потому что вы, несомненно, накануне какого-то изумительного открытия, но... — и он вытащил из кармана узенькую, как серпантин, ленту радиogramмы.

— Я тоже целую ночь не спал, чтобы прочесть вам эту отбитую в 11 часов вечера ленту. Вот слушайте — радиogramма Лукновской коротко-волновой станции: „Германия отклонила ультиматум Франции о разоружении. Война объявлена“, а в половине первого телеграфист принес мне вот эту ленту: „Началась бомбардировка Берлина газовыми снарядами. Весь юго-западный район города окутан облаками ядовитого газа. Шарлоттенбург, Груневальд, Шмагендорф, Лихтерфельде тонут в облаках светло-лилового, имеющего сильный лимонный запах, газа... В Потсдаме вымерло все население... Батареей, установленной в Кепенике, сбито три французских самолета-бомбомета... Вода в Фарландерее и Гафеле, отравленная газами, превращается в какой-то имеющий все тот же лимонный запах, студень...“ Газ движется к северу, к Вильмерсдорфу и Шенебергу“... О, чорт! — выругался Грохотов, разрывая ленточный клубок, — я не хочу читать дальше с всей этой мерзости!!!

(Продолжение следует).



КРАТЕР КОПЕРНИКА



Рассказ В. Позднякова.

Рисунки Н. Дормидонтова.

На величайшей горной вершине Эвересте, на высоте 8.840 метров над уровнем моря, где разреженный воздух чист и прозрачен, Международная Астрономическая Ассоциация выстроила обсерваторию. Между обсерваторией и ближайшим к ней индийским городом Лукновым установлено было регулярное авиационное сообщение.

В обсерваторию приезжает из Парижа французский астроном Журбо, где его радушно встречает создатель обсерватории Грохотов и знакомит с германским астрономом Либетраутом.

Просматривая фото-снимки (астрограммы) луны, Журбо замечает у лунного кратера Коперника попятнение, которое означало неожиданное присутствие на луне атмосферы, тумана и влаги. Это необычайное открытие совпало с обострением отношений между Германией и Францией. Объявляется война и начинается ужасная борьба с помощью разнообразных ядовитых средств и орудий.

IV. Начинается...

„М-сье Леону-Жаку Журбо. Эверест. Обсерватория М. А. А.

„Париж. 28 июня 1914* года.

„Дорогой папочка!

„У нас очень скверно. Все уезжают из Парижа. Уехали Агессо, Ла-Буардоны, Лоссье. Ходят слухи о готовящейся атаке Парижа Германией, при чем говорят о каких-то микробах, которые будут заражать все вокруг какой-то страшной болезнью. Мы очень боимся и целый день плачем. Я сейчас иду к мадемуазель Журдэн и попрошу ее, чтобы она взяла нас с собой в Тулузу, куда она едет к своему брату.

„Дорогой папочка, ты о нас не беспокойся. Все мы здоровы, и думаем, что ничего с нами не случится. Каково-то там тебе, среди холода, почти одинокому. Я уже кричала тебе на вокзале, когда ты разбил стекло, что мы забыли положить в чемодан сигары. Купил ли ты их в Марселе? Кто тебе штопает носки, стирает белье? Мы все об этом очень беспокоимся.

„Крепко, крепко целуем тебя, дорогой папочка. Будь здоров и не беспокойся о нас.

М а р и.
Н и н е т.
Л у.“

Журбо держал в руках синенький листок бумаги и думал о том, что события, пронесшиеся с грохотом по далекой Европе, неожиданно и грубо прикоснулись и к нему... И хотя он не сомневался в том, что страхи детей несколько преувеличены, чувство беспокойства овладевало им все сильнее и сильнее. Он сейчас же дал радиogramму в парижское справочное бюро, с просьбой сообщить, уехали ли дети, другую — в Тулузу, мадемуазель Журдэн, с запросом, приехала ли она и взяла ли с собой детей.

То обстоятельство, что с момента отправления письма, пересланного экстренной авио-почтой, прошло пять дней и что за эти пять дней радио не принесло никаких известий об атаке Парижа, значительно успокаивало его. А когда, час спустя, справочное бюро прислало ему ответную радиogramму, в которой сооб-

щалось, что дети

30 июня выехали

из Парижа, он успокоился совершенно.

В том состоянии почти физической расслабленности, которая особенно сильна у глубоко переживающих людей после душевных потрясений, он отправился к кабинке экваториала.

Проходя мимо комнаты Либетраута, он хотел было постучать в дверь, но тут же почувствовал, что не в состоянии оставаться в течение нескольких часов с глазу на глаз с человеком, весь образ которого, отчасти сам по себе, отчасти в связи с только что пережитыми минутами, был ему неприятен.

Почувствовал — и прошел мимо. Пройдя несколько шагов, поймал себя на недостойном ученого чувстве национальной неприязни и, чтобы наказать себя за него, хотел уж было вернуться и постучать в дверь. Случайно брошенный взгляд на широкое окно коридора показал ему сверкающую луну во всей ее прелесть и созданной событиями в кратере таинственности. Махнул рукой и прошел дальше.

И лишь только она, огромная, близкая, остановилась, дрожа, в центре объектива, Журбо, впившийся взором в кратер, увидел, что пятно не исчезло, а наоборот несколько увеличилось.

А спустя две-три минуты он чуть не вскрикнул от неожиданности: на северо-западной, свободной от пятна части кратера появилось крохотное белое облако. Несколько секунд спустя — другое, третье...

— Я начинаю понимать! — воскликнул он, отрываясь от телескопа и в волнении вскакивая, — кто-то бомбардирует кратер снарядами, начиненными водяными парами и воздухом!

В это мгновение сигнальная лампочка, находившаяся на левой стене кабинки, вспыхнула фиолетовым светом.

— Либетраут требует кабинку к шторе коридора, — догадался Журбо. — Нет, нет, я буду преступником перед наукой, если позволю в настоящий момент оторвать себя от наблюдений!

Лампочка гасла и вспыхивала, нетерпеливая, раздраженная, взбешенная... Журбо вывинтил ее и прильнул к окуляру, мимолетной уменшкой сравнивая себя с собакой, удирающей в уединение с добытой костью.

Количество облачков постепенно увеличивалось. Целыми десятками, сотнями появлялись на поверхности кратера маленькие белые пятнышки, расплывавшиеся и соединявшиеся друг с другом и, наконец, в северо-западной части его образовалось второе большое облако, подобно первому.

А когда луна, поблекшая, стертая зарей, скрылась из поля зрения инструмента, он прервал наблюдение и со всех ног побежал в комнату Грохотова.

— Дорогой мой! — кричал он, встряхивая сонного Грохотова в постели и чуть не плача от восторга, —

да знаете ли вы, что это такое?! Да ведь это колонизация луны!! Мертвой, безжизненной луны!!!

Немного успокоившись и посвятив Грохотова во все виденное, он стал большими шагами ходить по комнате.

— Что это дело рук разумных существ, не подлежит ни малейшему сомнению,—говорил он, размахивая руками, внимательно слушавшему, сидящему в одном белье на постели, в позе турка, с трубкой в зубах, Грохоту. — Людей, да, людей! Не важно, что они не похожи на нас, не важно, что они, может быть, в не-

нибудь другой планеты — но как они далеко ушли от нас... Бомбардировать определенную точку за десятки, а может быть, и сотни миллионов километров, бомбардировать наверняка, по заранее разработанному плану — какими колоссальными, в сравнении с нашими, земными знаниями, нужно обладать!

— Пытаться вернуть к жизни вычеркнутое из жизни, кинуть вызов природе, всему мирозданию — какая смелость, какая красота!..

Резкий стук в дверь прервал его слова.



А теперь удалитесь из комнаты...

V. Претензия.

— От имени Международной Астрономической Ассоциации я выражаю астроному Парижской обсерватории Лёну Жану Журбо претензию в нижеследующем, — начал Либетраут входя в комнату. — Астроном Журбо, вопреки правилам научной и общечеловеческой этики, взял на себя сме-

сколько раз больше или меньше нас. Что, может быть, у них нет рук, а есть крылья, что они, повторяю, по внешности совсем, совсем не такие как мы... Это все равно! Это мыслящие существа, это люди. Да, люди! О, дорогой мой! — воскликнул он, снова и снова загораясь восторгом и подбегая к Грохоту, — позвольте мне... поцеловать вас!

И не дожидаясь согласия, принял губами к жесткой, как терка, щеке старика.

Тот вынул трубку изо рта, обнял Журбо за шею — и возвратил ему поцелуй. В серых глазах старого механика мелькнуло что-то милое, что Журбо почувствовал полнейшую уместность своего порыва.

— Какая смелость, какое величие, — садясь рядом с Грохотым и беря его за руку, продолжал Журбо. — Жители ли это Меркурия, Венеры, Марса или какой-

лишь присвоить открытие другого ученого себе, что выразилось в недопущении этого ученого к совместному наблюдению.

И в одном белье, тонкий и прямой, как свеча, Либетраут остановился посреди комнаты. Журбо встал.

— Позвольте, мосье Либетраут, — сказал он. — Я вполне понимаю вашу претензию в той части, которая говорит о том, что я не пригласил вас в кабинку экваториала — я в этом виноват и приношу свои глубочайшие извинения. Что же касается ваших слов о присвоении мной вашего открытия, то я тут ничего не понимаю и попрошу вас высказаться яснее...

— На кратер Коперника было обращено внимание, благодаря сделанной мною астрограмме, мосье Журбо. Иначе вам, как специалисту по малым планетам и бывшему на Эверест, как я знаю, для их наблюдения,

не пришло бы в голову заняться луной, тем более с первых же дней своего приезда.

— Вы понимаете или нет, — вмешался в разговор Грохотов, тоже вставая с постели, — в чем обвиняете мосье Журбо? Как у вас язык повернулся на это? Ведь вы обвиняете известного ученого, человека со славным, беспорочным научным именем в научном воровстве, которое несколько не лучше, чем всякое другое! И при чем тут Международная Ассоциация, от имени которой вы взяли на себя не только смелость, а больше — дерзость выступать?

— Мосье Либетраут, — дрожащим голосом, чувствуя, что в висках начинает биться кровь неровными, порывистыми толчками, а к горлу подступает клубок волнения, сказал Журбо, — попробуем спокойно обсудить положение... Если бы я не обратил на астрограмму внимания, ничего не заметили бы и вы. Она лежала бы в вашей коллекции неопределенно долгое время, до первого случая, который бы обнаружил изменения в кратере. Поэтому полагаю, что честь открытия принадлежит ни вам, ни мне, а исключительно этому случаю... А теперь... — Журбо остановился, задыхаясь, кладя руку на безумно бьющееся сердце, — удалитесь из комнаты, потому что я не могу поручиться за себя... — шопотом закончил он.

В этом шопоте была такая значительность, так очевидно была хрупкость преграды, удерживавшей еще Журбо от движения вперед, от крика, от сокрушительного удара, может быть, что Либетраут повернулся и несколько быстрее, чем это можно было ожидать от размеренности его движений, закрыл за собою дверь.

— Бросьте, дорогой, — говорил несколько минут спустя Грохотов сидящему на кровати и закрывшему лицо руками Журбо. — У нас, у русских, есть хорошая поговорка: собака лает, ветер носит. Претензия его настолько нелепа, что не может даже и оскорбить. Разве может оскорбить запах из уборной? Зажмите нос и шагайте мимо... а я уж устрою так, чтобы его скорее убрали отсюда — он и мне начинает действовать на нервы.

Раскуривая заглушую трубку, он продолжал:

— Поговоримте лучше о той сказке, которая делается на луне... Да... Так вот, дорогой, продолжаю вашу мысль. Если это марсиане, то им, чтобы попасть на луну, придется сделать, приблизительно, пятьдесят миллионов километров в междупланетном пространстве. Если их снаряд будет лететь со скоростью десяти километров в секунду, т.е., примерно, в тридцать раз быстрее скорости звука, им придется потратить на это путешествие пять миллионов секунд, или, — Грохотов приостановился, подсчитывая, — около шестидесяти дней... Если же это жители Юпитера или одного из его спутников, то им предстоит путь, примерно, в шестьсот миллионов километров — я не перевожу расстояний дорогой мой? Тут потребуются шестидесять миллионов секунд или около двух лет... Два года лететь в абсолютной пустоте, в бесконечном океане пространства! Да, действительно, изумительной умственной организацией нужно обладать, чтобы выполнить все это, — вздохнул Грохотов:

— Но почему же, мосье Грохотов, — спросил Журбо, отнимая руки от лица, голосом, в котором еще слышались нотки волнения, — мы, люди, все еще не можем достигнуть этого? Ведь история культуры насчитывает чуть ли не десяток тысяч лет... Неужели этого все-таки мало?

— Ну, от вас, от ученого, я не ожидал подобных вопросов! — отчего-то вдруг рассердился Грохотов. —

Почему? Да потому, что нет ничего более нелепого, чем эта история! Мы, люди, делали шаг вперед, чтобы потом сделать два шага назад — и это на протяжении ваших десяти тысяч лет... Дали Египет, Ассирию, Вавилонию, создали Грецию и Рим, а затем запели псалмы и начали топить культуру в крови инквизиционных застенков, жечь ее на кострах средневековья!.. Собирали по крохам — и ломали сразу, в грехоте сражений, чад религиозных предрассудков, классовой и политической ненависти! Потому, дорогой, что все еще человек человеку волк. Вот и сейчас эти милые земные люди схватили друг друга за горло... вертись, земля, поражай мироздание своей красотой!

VI. Выстрел

„Эверест, Обсерватория М. А. А. 5/VII 194*
Мосье Жану Журбо.

Сестра с детьми не приезжала. Беспokoюсь. Из Парижа никаких известий:

Мисель Журдан.“

— Да ведь они выехали 30 июня, ведь Справочное Бюро дало официальную справку! — почти плача и размахивая перед Грохотовым телеграммой, кричал Журбо. — Я ничего не понимаю и страшно беспокоюсь, что же это такое наконец!

Грохотов молчал. Бросать слова неискреннего утешения не хватало духа.

Он размышлял, сопоставляя отдельные факты. Еще вчера радиотелеграфист Крамарек с недоумением говорил ему, что вот уже несколько дней Париж молчит — вообще в работе радиостанций за последнее время отмечалось что то непонятное... настройка почти не удавалась, волны самым неожиданным образом меняли свою длину, прием прерывался шумами разрядов, безусловно не атмосферного происхождения, в силу их правильности и даже периодичности.

Как будто кто-то неизвестный налаживал работу, ответственную сбить с толку, своего рода радиорезинку, доспешно стирающую воздушные волны, оставляя от них одни путанные, неразборчивые лохмотья. Спешно по всему миру возобновлялись оставленные было проводные сообщения. Этим же путем, через Гайбук, была получена и настоящая телеграмма.

— Утро вечера мудренее, дорогой мой, — единственное, что нашелся сказать Грохотов. — Ложитесь-ка спать, может быть завтра все выяснится.

С тем же недоумением на лице, растерянно продолжая держать телеграмму, расстроенный, ушел Журбо в свою комнату.

А Грохотов прошел в помещение телеграфа.

— Ну-с, м-сье Грохотов, — оборачиваясь на шаги, сказал Крамарек, чем-то сильно взволнованный. — Я начинаю понимать неразбериху последних дней. Вот что я сейчас принял через Гайбукскую станцию.

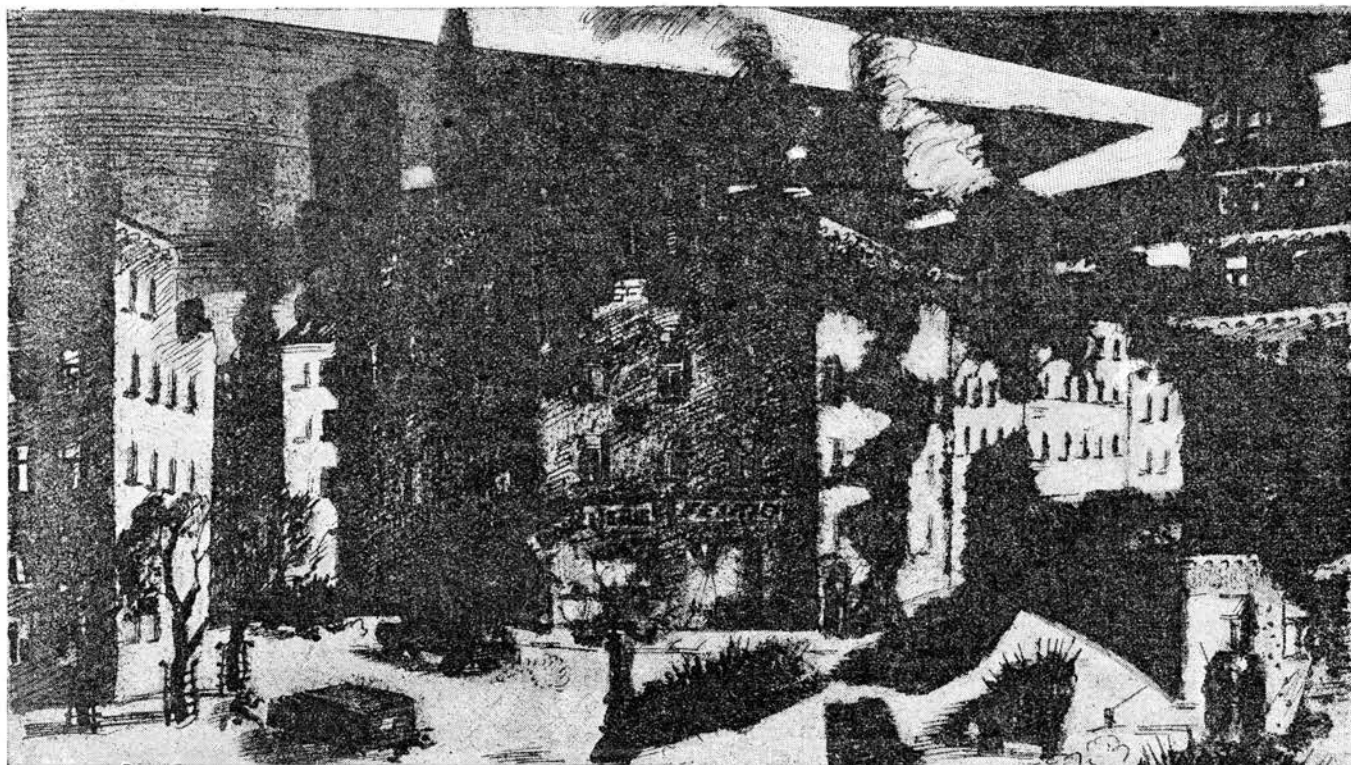
„В ночь с 28 на 29 июня Париж занят немецкими войсками, подготовившими артиллерийскую, газовую и бактериологическую атаку города, который частично разрушен. Население, не успевшее уйти, погибло. Немецкими заняты все правительственные учреждения. Эйфелева башня, усиленная новыми установками, мешает работе европейских станций.

— Так вот в чем загадка, — оглушенный известием, прошептал Грохотов. — Бедный, бедный город! Несчастные погибшие люди!..

— Да, Крамарек, — сказал он, — теперь понятна и та телеграмма Справочного Бюро, которую получил Журбо. Немцы, погубив целый город, не отказали

в своеобразной любезности, ответив человеку со славным научным именем, — ответив, правда, ложью... Знаете, Крамарек, когда так называемый „культурный“ человек дичает, он становится в тысячу раз омерзительнее природного дикаря...

Журбо не плакал. Это было сильнее слез... Слезы — облегчение, противоядие страданию... Глаза были сухи, и ни одного слова не сказал Журбо в ответ. Лежа на кровати, повернулся к стене и движением руки дал понять Грохотову, чтобы тот ушел.



Париж занят немецкими войсками.

— О, сколько лет жизни я отдал бы, чтобы судьба избавила меня от этой мысли — сообщать человеку, которого я люблю, об обрушившемся на него горе... Несчастный человек, несчастные дети... — думал он, направляясь к комнате Журбо.

Ити было нужно... Грохотов не мог представить себе возможности оставления Журбо в состоянии неведения — это противоречило всей его, грохотовской, прямой, честной и мужественной натуре.

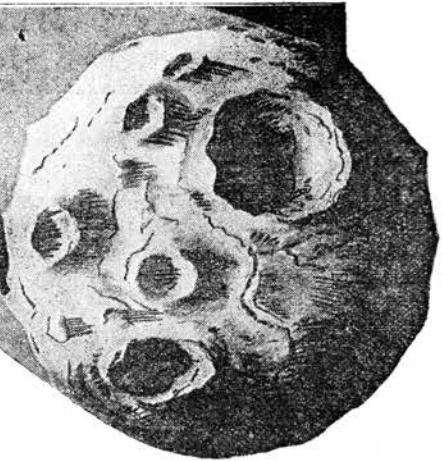
И он пошел. Пошел и сказал... не скрывая ничего, нансся удар прямо в сердце — другого выхода он не видел...

... Ночью Грохотов проснулся от страшного шума, беготни по коридору, криков. Металлические стены здания гулко резонировали на топот ног — все оно наполнилось звенящим шумом.

... А затем, оглушительно разрывая воздух, прогремели два выстрела.

(Окончание следует)

КРАТЕР КОПЕРНИКА



Рассказ В. Позднякова.

Рисунки Н. Дормидонтова

На величайшей горной вершине Эвереста, на высоте 8.840 метров над уровнем моря, где разреженный воздух чист и прозрачен, Международная Астрономическая Ассоциация выстроила обсерваторию. Между обсерваторией и ближайшим к ней индийским городом Лукновым установлено было регулярное аэроплатное сообщение.

В обсерваторию приезжает из Парижа французский астроном Журбо, где его радушно встречает создатель обсерватории Грохотов и знакомит с германским астрономом Либетраутом.

Просматривая фото-снимки (астрограммы) луны, Журбо замечает у лунного кратера Коперника помутнение, которое означало неожиданное присутствие на луне атмосферы, тумана и влаги. Это необычайное открытие совпало с обострением отношений между Германией и Францией. Объявляется война и начинается ужасная борьба с помощью разнообразных ядовитых средств и орудий.

Журбо получает в это время из Парижа ответ на свою телеграмму, что его дети благополучно выехали на юг. В действительности же вся семья Журбо погибла при занятии Парижа германскими войсками. Узнав о гибели детей, Журбо, раздавленный, упал на кровать. И ночью прогремели два выстрела.

будет. Но полежать с месяц в постели ему все-таки придется.

— А что с м-сье Журбо?—опять спросил Ганетти.

— Я, как старший в обсерватории, наложил на него домашний арест. Он сидит в своей комнате, имея право выхода только для наблюдений.

— Не находите ли вы, м-сье Грохотов, что домашний арест для такого ученого, как м-сье Журбо, довольно таи суровая мера?

— Нет, Ганетти. Единственное, что я нахожу, так это то, что вы слишком много себе позволяете, задавая такие вопросы. Это мне не нравится, Ганетти, предупреждаю вас.

...Да, многое не нравилось Грохотову за последнее время. Война определила враждующие расы—и она же здесь, казалось бы на недосягаемой для нее вершине определила, если не прямо враждующих, то, по крайней мере, настороженных по отношению друг друга людей...

Итальянец Ганетти довольно определенно сочувствовал французам Журбо. Чех Крамарек был всецело на стороне Либетраута. И если японец Хокуто был бесстрастен, то может быть потому, что на Эвересте не было ни одного из представителей враждебных Японии государств. Последующие дни ничего утешительного в том отношении не принесли. Радио передало, что Франции, после поражения под Парижем, пришлось выдержать бесславный морской бой с Англией, неожиданно объявившей ей войну—около Антильских островов. Отношения между Японией и Америкой обострились с каждым днем, и единственно, что удерживало их от неминуемого столкновения, это невьясненность ориентировки по отношению уже враждующих государств.

Поднимались и поработанные страны. Китай снова сжал свой кулак против Англии, и против нее же, наконец, выступила Индия, поддерживаемая Афганистаном. Под Дели молодая индийская армия разбила в пух и прах двадцатитысячный отряд генерала Блекстона, южнее Кантона завязывалось сражение между китайскими и английскими войсками. Ворочался Сиам, ожидая момента, чтобы вцепиться в ногу кого-нибудь пожирнее, Япония приготовилась к прыжку на восток...

В огне и дыму битв ковались новые гигантские ножицы судьбы, которые должны были перекроить карту мира...

С каждым днем отношения среди горсточки заброшенных на Эверест людей становились все хуже и хуже. Спустя две недели после выстрела Журбо Ганетти „позабыл“ принести обед Либетрауту, и тот пролежал целый день голодный—это случилось на следующий день после объявления Германские войны Италии. Крамарек хлопнул его за это по физиономии, и Грохотову пришлось посадить обоих на сутки под арест. Он чувствовал, что пройдет неделя, другая и от его авторитета не останется и следа...

6. Огни.

— Мы прибежали, когда мосье Либетраут уже лежал на полу,—рассказывал под утро Грохотову сторож обсерватории, японец Хокуто.

— Да, подтвердил радиотелеграфист Крамарек;— это было, приблизительно, в 3 часа утра. К этому времени кончалось дежурство Хокуто и он собирался идти спать.

— Постоите, Крамарек,—перебил его Грохотов.— Мне важно знать следующее—неизвестно ли что-нибудь, предшествовавшее выстрелу? Ведь ваша сторожка, Хокуто, находится рядом с общей комнатой, где был поднят Либетраут. Может быть, вы что-нибудь слышали?

— Совершенно верно, мосье Грохотов,—ответил японец,—я кое-что слышал, отрывками.

— Хокуто мне рассказывал, что мосье Журбо...

— Да постоите же, Крамарек!—рассердился Грохотов.—Вы слишком словоохотливы, а из Хокуто слова не вытянешь. Пусть Хокуто рассказывает по порядку.

— Приблизительно в половине третьего в общую вошел мосье Журбо. Я его узнал по шагам. Он ходил по ней минут с десять, а потом вышел. Затем он постучал в дверь мосье Либетраута. Я это наблюдал из коридора—не скрою, несвоевременность разговора меня заинтересовала. Когда мосье Либетраут вышел, мосье Журбо спросил его в упор: «Скажите, уважаемый коллега, ваши доблестные сыновья тоже участвовали в убийстве моих детей»—я привожу эту фразу дословно. М-сье Либетраут, видимо напуганный словами и выражением лица м-сье Журбо, скрылся в комнату, закрыв за собою дверь. М-сье Журбо бросился туда, несколько секунд были слышны голоса обоих, потом м-сье Либетраут выбежал, бросился по коридору, м-сье Журбо за ним. Они пробежали весь коридор, м-сье Либетраут кинулся в общую, там его настиг м-сье Журбо и выстрелил в него. Вот и все, что я знаю.

— Как состояние здоровья м-сье Либетраута?—спросил до сих пор молчавший, второй сторож, Ганетти.

— Раны не опасны, на сколько я могу судить,—ответил Грохотов.—Никаких осложнений, видимо, не

Нужно было как-то действовать.
И он нашел — как.

Ночью, когда Крамарек спал, он прошел в помещение радиотелеграфа и сильным ударом по лампочкам разрушил их волоски. Эверест потерял с миром последнюю связь...

А под утро прилетел аэроплан Международной Ассоциации, и авиатор, выгрузив продукты, сообщил, что это последний регулярный рейс, что все аппараты реквизированы Англией для военных целей и она обязуется выполнять доставку правильных

вианта, не гаран почтовых сообще
Когда, после нем небезанял хотов вспом более трех не Либетраут не дений. Либетраут все еще был прикован к постели, Журбо просто не выходил из комнаты.

Грохотов зашел к нему, Журбо сидел у стола все в той же неизменной позе последних дней — положив локти на стол и уткнув в них голову.

— М-сье Журбо, — сказал Гро-

лишь доставку правильных ний.
новолуния, на вечера молодой месяц Грохотил, что вот уже дель Журбо и делали наблю-

Когда огромный лунный серп глянул на него в телескоп и Грохотов, проверяя кольцо, стал всматриваться в резко очерченную ломаную линию терминатора, обозначающую рельеф гор, а потом взглянул немного повыше то сразу, как неожиданно упавший в воду человек, вздохнул отрывисто и шумно.

На месте кратера что-то блеснуло. Вглядевшись пристальнее, Грохотов увидел ряд крохотных светящихся точек. Двумя правильными концентрическими кругами, с центром примерно в середине кратера, светились эти точки, как искорки миниатюрной алмазной брошки.

— Сказка... сон... — прошептал Грохотов, — откидываясь на спинку кресла.

... Когда разгорелась заря, лунный серп стал бледнеть и таять, а с ним, стертые солнечными лучами, исчезли и огни.

В состоянии стога вернул пату и задум

— Это не лял он. — полной зе-

какого-то умиленного во- ся Грохотов в свою ком- чиво сел на кровать. фонари, — размыш- При свете почти мли, более яр-



Там его настиг м-сье Журбо и выстрелил.

хотов, прикасаясь к плечу сидящего, — что выскажете насчет наблюдений над кратером?

— Да... Кратер... А я совсем забыл о нем.. Постоите... ведь сейчас первая четверть, кратер не виден..

— Вы правы, м-сье Журбо, еще рано.

— Дней через пять я сделаю первое наблюдение. Если вы не очень заняты, проверьте окулярное кольцо — оно, кажется, ходило не совсем свободно. Испортили его немцы...

Грохотов нагнулся и сбоку взглянул на Журбо — тот смотрел перед собой — и в зрачках его бегали те огоньки, которые гажигает начинающееся безумие.

„Эх, бедняга, бедняга, — подумал Грохотов, — и твой большой, светлый мозг тоже, кажется, испорчен этой проклятой войной... счастье, если не навсегда...“

— Немцы тут не при чем, дорогой... А кольцо я сейчас проверю — мне тоже показалось, что его немного заедает...

кой, чем свет полнолуния, раз в четырнадцать, пожалуй нет нужды в освещении. По всей вероятности — это отверстия огромных печей, назначение которых — бороться с холодом¹⁾ двухнедельной ночи... — „Кто там? — Крикнул он, услышав стук в дверь.

На пороге комнаты стоял Крамарек, бледный, как тот серп, который Грохотов сейчас наблюдал. Глаза его были широко открыты и в них застыл ужас.

— М-сье Грохотов, — пробормотал он, задыхаясь, в кабеле нет тока... амперметр и вольтметр стоят на нуле...

8. Солдаты его величества.

Миссис Гульд из Норвича не узнала бы своего сына Томми, всегда такого чистенького пай-мальчика — в этом

¹⁾ Ученые держатся различных мнений о температуре лунной ночи, принимая ее от 180° до 250° Ц. Температура же лунного дня по тем же предположениям подымается до 100° и даже до 200° Ц.

долговязом разлохмаченном страшилище, в изорванном хаки и с повязанной головой.

Кузнец Ридинг из Ноттингэма тоже не узнал бы в искалеченном, изможденном существе с воспаленными глазами своего младшего брата Нормана, весельчака и сорви-голову, свободно крестившегося трехпудовой гирей.

Мрачный Тодди Бэнкс, конторщик Плимутской торговой конторы, аккуратный и монотонный, как часы — тоже потерял свой образ.

Эти трое бродяг — Томи Гульд, Норман Ридинг и Тодди Бэнкс, изголодавшиеся, измученные человечьи тени, были не чем иным, как осколками разбитого в дребезги отруда имени его величества принца Уэльского Дэвонширского 38-го пехотного полка.

Еще недавно, каких-нибудь три недели тому назад, сидя в одной из калькутских таверн и попивая неслишком хорошее, соответствующее его скромному бюджету, вино, Норман Ридинг доказывал своим собутыльникам, что единственное на свете, стоящее внимания — это сестры Хэнтер, Долли и Мэдж, а все прочее — гниль и ерунда.

А затем — спешная мобилизация и марш на север. Дальше — сокрушительный ураган индусской конницы, несколько мгновений — часов Дантова ада и синее далекое небо над лежащим на спине, раскинув руки и ноги, Норманом Ридингом.

Из отряда, попавшего в мешок, ловко накинутый индийским командованием, остались эти трое. Кое-как перевязав друг другу не слишком тяжелые раны, тронулись они по неизвестному направлению — лишь бы уйти от этих сотен остеклившихся глаз, сведенных в последней хватке за жизнь членов, от повисшего уже над плато тяжелого смрада.

Пугаясь собственных шагов, шарахаясь в сторону от каждого звука, рожденного обступившими их со всех сторон зарослями мангрового леса, питаясь какими-то похожими на салат-латук листьями, на которые им указал Тодди Бэнкс, ноцую, прижавшись друг к другу, под зелеными шатрами деревьев — брели они неизвестно куда.

Оружие — винтовка Томми Гульда с шестью патронами и ручная граната у пояса Ридинга — придавало им некоторую бодрость.

Но это — днем. Ночью же, несмотря на винтовку и гранату, шум леса подползал к горлу неизъяснимым страхом, перехватывая дыхание, шарил по спине мелкой, холодной дрожью.

И вот на шестой день своих блужданий, на поляне, окаймленной каштановыми деревьями, на берегу горного потока, увидели они здание. Бэнкс, заметивший его первый, даже протер глаза, не веря себе, до того оно было неожиданно.

Из здания сквозь рев потока неся ритмический шум — как будто, работали машины. Пошептавшись они решили выделить парламентаря, и Ридинг, в качестве такового, чувствуя при каждом шаге слабость под коленками, относительно храбро направился к нему.

Взялся за ручку двери — она открылась гостеприимно и доверчиво. Вошел — и оказался в довольно обширном зале, заставленном машинами. Что-то крутилось, мягко шипели ремни трансмиссий, пахло маслом и тем характерным запахом живых машин, который стоит в каждом машинном помещении. Увидел какие-то рукоятки, пучки натянутых, как струны, проводов, доски со вздрагивающими стрелками в дисках приборов и... забытый кем-то на кожежке одной из машин бутерброд с ветчиной.

Быстрое, как мысль, движение, и зубы впиллись в розовое мясо. Светло челюсти, под ушами вздулись желваки, судороги — но зубы продолжали рвать дальше, горло раздувалось от проглатываемых без разжевывания огромных кусков.

— Первый раз вижу человека, так стремительно расправляющегося с пищей, — услышал Ридинг около себя жидкий тенорок. Обернулся и увидел человека в синей рабочей блузе...

— Немножко неприятно, конечно, — продолжал человек, провожая глазами исчезающие куски, — что мой бутерброд погиб. Но, я вижу, вы так голодны, что я даже готов предложить вам другой.

Ридинг проглотил последний кусок, с выпученными глазами проталкивая его в горло, и протянул руку. Потом вспомнил о своих двух приятелях и решил начать переговоры.

— Скажите, пожалуйста, что это за здание? Видите ли, меня ждут два товарища, они очень голодны — не могли бы вы накормить и их?

— Это Гайбукская гидростанция. Питает током Эверестскую астрономическую обсерваторию. А накормить вас сможем. Тащите своих приятелей, а я пойду к заведующему, сообщу ему о вас.

Через полчаса все трое сидели перед дымящейся миской с варевом необычайного, сверхестественного вкуса... Человек в синей блузе, оказавшийся одним из монтеров, принес бутылку виски, и трое солдат почувствовали себя в раю.

И тут Ридинг и Бэнкс убедились, что их недавний приятель Томми Гульд, которого они знали еще до разгрома за тихоню и чистюлю, самый настоящий, заправский алкоголик. Не дураком выпить оказался и монтер. За первой бутылкой появилась другая. Гульд хлопал рюмкой за рюмкой — и вдруг, когда головы Ридинга и Бэнкса, отяжеленные вином и едой, склонились на край стола, изо всей силы ударил ладонью по столу.

Зазвенели, подпрыгнув, тарелки, рюмки, ножи и вилки, и Томми Гульд заорал какую-то дикую песню, ворочая совершенно бессмысленными, налитыми кровью глазами. Затем его взгляд уперся в положенную на край стола гранату Ридинга и нацелившись, он цапнул ее...

Размахивая ею он пошел мимо прижавшихся к стене Ридинга, Бэнкса и монтера и, не прерывая дикой ругани, направился в зал. Те, очнувшись от первого испуга, бросились за ним, и началась погоня по всему залу. Качаясь из стороны в сторону, Гульд бежал от машины к машине, инстинктивно избегая опасных мест, нагибая голову под ремнями трансмиссий.

— Гульд, дружище, да остановись же!

— Гульд, миленький, погоди минутку, я тебе что-то скажу!

— Отдай гранату, чорт свинячий, ведь ты всех нас взорвешь на воздух!

Остановились — остановился и Гульд, тронулись вперед — двинулся и Гульд. И так без конца — останавливались, двигались, снова останавливались, усовещая, лгая, угрожая. Наконец, взбешенный и бессмысленностью сцены и бесполезностью погони, Ридинг бросился вперед. Два-три прыжка и концы пальцев скользнули по спине Гульда. Тот кинулся в сторону, левая кисть коснулась бегущего ремня, — короткий крик — и втянутая между ремнем и маховиком рука потянула за собою тело... Ноги оторвались от земли, тело взметнулось кверху и описывая в воздухе параболу, полетела граната по залу...

.....

Когда заведующий станцией, вместе с рабочими, разбуженный взрывом, прибежал в зал, то по нему колыхались сизые полотна дыма. Четыре трупа, лохмотья трансмиссий, осколки распределительных досок, обрывки проводов, сорванные с постаментов динамо и делающую последний бессильный оборот, раненую на смерть, с искривленными и вырванными лопастями турбину—увидел заведующий.

— Аккумуляторы... заряжены?—не повинующимся хриплым голосом, не интересуясь пока ничем иным, спросил он своего помощника.

— Нет... Я хотел их заряжать завтра утром,—ответил тот.

И оба они, повинувшись какому-то могучему импульсу, посмотрели в окно, в котором, освещенная луной, серебрилась снежная вершина Эвереста.

9. Встреча.

— Ничего другого вам предложить не могу, Крамарек... бесполезно искать выхода. Идите к себе, ложитесь спать, если можете — и оставьте меня одного.

время от времени от стен доносилось легкое потрескивание — это расходились охваченные морозом, швы стальных листов...

На коленях Грохотова лежала бумажная таблетка с надписью «Морфий». Крамарек ее не взял... на что надеялся человек?..



Короткий крик — и втянутая между ремнем и маховиком рука потянула за собою тело...

Час тому назад, Хокуто, улыбаясь чему то далекому, нездешнему, взял такую же таблетку, и, пожав руку Грохотова, ушел в свою комнату.

А затем получил свою долю и Ганетти.

За ним—умирающий Либетраут.

Четыре таблетки, шесть человек — час тому назад...

Одна таблетка, три человека—сейчас...

...Ну, что-же, если Крамарек не хочет...

И рука, пошарив на коленях, нащупала белый четырехугольник...

...А Журбо?.. Нет — Журбо достаточно определенно отклонил предложение, локтем отодвинув таблетку. И даже не посмотрел на него, Грохотова, сидя все в той же неизменной за последние дни позе, положив локти на стол, опустив на них голову...

...Ну что-же, если Крамарек не хочет...

— Давайте, м-сье Грохотов,—слышит он около себя придушенный голос,—я больше не могу, мне не хватает воздуха, я задыхаюсь!

— Таковыми вещами нельзя шутить, Крамарек,— строго говорит Грохотов.—Вы только что отказались я хотел взять ее себе... Так нельзя шутить, Крамарек.

И Грохотов плотнее завернулся в шубу. Холод пробирался за воротник, хватал за ноги, грызя концы пальцев... Голова кружилась от насыщенного углекислотой воздуха, в ушах стоял непрерывный, надоедливый, как полет комара, звон... и сквозь этот звон

— Дайте, дайте... я больше не могу. Ради всего святого, ради ваших детей, всего того, что вы любите, дайте ее мне!..

И Грохотов протягивает таблетку—тот уходит.

Голова клонится на грудь, все тот же звон в ушах... все то-же ужасное, неумолимое потрескивание.

— Пойдемте, скорее, скорее пойдемте! Слышит опять Грохотов голос над собой—и видит Журбо. Тот стоит, в одном пиджаке и трясет его за рукав.

— Вы простудитесь, Журбо,—хочет сказать Грохотов, но тут же понимает всю нелепость приготовленной фразы...—Куда пойдемте Журбо?..

— Туда, туда пойдемте, к экваториалу, посмотреть на него, на кратер, скорее, скорее—я умоляю вас!

Глава Журбо сверкают, весь он—порыв, он не чувствует мороза, он—горит.

— Механизм экваториала бездействует, Журбо,—отвечает Грохотов.—Ведь тока нет, понимаете.

Потом вспоминает. И лениво ворочая языком, оставиваясь на каждом слове, говорит:

— Единственно, что возможно, это установить ручной передачей меридианный круг—вы увидите луну две, три минуты, не больше.

Журбо не дослушивает. Он бежит по коридору, с развевающимися волосами, бормоча что-то. Идет за ним и Грохотов.

Луна близка к прорези купола—«не опоздали, не опоздали!»—шепчет Журбо.

И оба они, напрягая последние силы, вертят колесо передачи. Ползет объектив по прорези и останавливается—и на него находит серп луны.

— Последний привет... последний привет,—бормочет Журбо.

Он садится в кресло, передвигает окулярное кольцо.

Грохотов становится рядом и вынимает блокнот.

— Говорите Журбо,—замечает он.—Я буду записывать.

— Да, да, Грохотов,—понимает Журбо,—последняя запись... люди найдут когда-нибудь... найдут, Грохотов...

Но он не может справиться с окуляром,—а луна уже светит краем в прорезь купола Грохотов тихонько отодвигает его, вертит кольцо окуляра—и туманное серебристое пятно съезживается, собирается в резкие линии, точки, являя лик луны. Блестит ломаная линия терминатора, обозначая границу света и тьмы, а рядом, из этой тьмы, как из бархата коробки, искрится миниятюрная алмазная брошка, уже не два, а три концентрических круга, три крохотных, блистающих круга...

Огромным усилием воли заставляя себя Грохотов оторваться от окуляра и говорит Журбо.

— Смотрите!

— Три круга, три круга!—почти кричит Журбо. Грохотов чувствует, что карандаш становится огромным и тяжелым, как бревно, ускользая из каменеющих пальцев... Как немеют ноги—и грузно опускается на пол кабинки слабеющее тело. В ушах стоит уже не звон, а шум, похожий на рев водопада.

— Три круга... они блестят... они пылают, Грохотов,—нараспев говорит Журбо.—О, как они пылают... вокруг них люди, толпы народа! Это праздник, Грохотов... какие счастливые, гордые лица, какое ликование!..

— Вы бредите, Журбо,—ворочая жерновом языка говорит Грохотов, и голова его падает на грудь.

— Грохотов, Грохотов!—кричит Журбо.—Они тоже там... среди толпы... мои девочки, мои бедные девочки! Мари, Нинет, Лу... Они смеются, они кивают мне!..

Грохотов лежит на полу кабинки. На грудь ему наваливается что-то огромное и мягкое—это Журбо сполз со своего кресла. И над самым ухом он чувствует горячее дыхание, сквозь последние проблески сознания слышит:

— Здравствуй, Мари, здравствуй Нинет, здравствуй, моя ласточка, моя маленькая Лу!..